**«РОДНИК РАДОСТИ ЖИЗНИ»**

**К 150-летию со дня рождения М.М. Пришвина**

Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954) – замечательный русский писатель, в творчестве которого главной темой была жизнь природы родной страны. Он много путешествовал и признавался: «Всей этой своей географией я обязан вот этому чувству благодати, исходящей от родной земли». Но Пришвин не просто мастер словесного пейзажа. Это писатель-исследователь и философ. На первом плане для него – смысл бытия человека и мироздания.

По собственному признанию, Пришвин «всю жизнь как писатель <…> только и делал это, что пытался своим искусством открыть этот мир сокровищ для людей» . На склоне лет художник записал в свой дневник, который вёл более полувека: «Иногда, очнувшись в лесу от своих мыслей, я как бы выгляну из себя и вдруг увижу вокруг деревья, цветы, травы, птиц, муравьёв, как существ живых, самостоятельных. В особенности молодые сосны или берёзы, расставленные где-нибудь на лесной поляне, – глянешь на них из себя и вдруг увидишь в каждом свою судьбу, свою борьбу. Тогда открывается в душе родник радости жизни, чистой, святой и страстное желание прийти к людям, не понимающим этого, и открыть им непостижимые сокровища жизни, скрытые от них суетой, пустяками» .

10 марта 1950 года Пришвин заносит в дневник свои итоговые заветные размышления: «Что же касается эволюции, то есть преображения во времени, то это есть движение всех частей к воссоединению и возрождению». Вера в конечное торжество правды, в возможность гармонии всего сущего, стремление к этой гармонии давали писателю творческие силы для создания его оригинальной художественной прозы. Философские раздумья естественным образом переплавлялись в красоту словесной живописи, волшебство русского слова.

Такова удивительная пришвинская повесть «Жень-шень» (1932). Она сложилась под влиянием впечатлений от поездки писателя по редакционному заданию на Дальний Восток.

Впервые произведение с подзаголовком «Корень жизни» было опубликовано в третьем номере журнала «Красная новь» за 1933 год.   
А в феврале следующего 1934 года, как раз ко дню рождения писателя, «Жень-шень» вышел отдельным изданием. 3 февраля Пришвин записал в дневнике: «Выход книги “Жень-шень”. Перечитываю и удивляюсь, – откуда взялось!» Так творение своим совершенством не переставало изумлять даже самого своего творца.

Неслучайно писатель считал книгу о легендарном корне жизни одним из самых важных – коренных – своих произведений: «Эта вещь моя коренная». Более того – Пришвин называл повесть «скрытой автобиографией». «Вся моя особенность, все истоки моего характера и поведения берутся из моего физического романтизма, из некоей силы, которая понимается с общей мужской точки как слабость: тут всё, и в книге “Жень-шень” об этом я всё сказал» – такое признание на восьмом десятке лет оставил писатель в своём дневнике.

В лирическом образе безымянного рассказчика в «Жень-шене» передан строй души самого автора, его напряжённая внутренняя жизнь и главное в ней – неистребимая романтическая мечта о всеобщей гармонии. Писатель надеялся даже, что на последнем Суде Божьем, предстоящем каждому, повесть «Жень-шень» послужит оправданием всей его бренной, земной жизни. Всего за несколько лет до смерти, 14 марта 1950 года, Пришвин записал в дневник: «На Божьем Суде, однако, я в оправдание своё могу показать “Жень-шень”: в нём содержится моя победа» .

Непрестанно, буквально до последних дней жизни, Пришвин мысленно возвращался к этой повести. Она продолжала тревожить его сознание, бередить душу, являлась во сне: «Ночью мне приснился мотив моей повести “Жень-шень”: “охотник, охотник, отчего ты не схватил её за копытце” – в его автобиографическом происхождении, и это во сне понималось как родник поэзии, который не задавит никакая скала».

Живительный «родник поэзии» открылся рассказчику в повести, когда он, преодолевая свои физические инстинкты, сделал единственно верный выбор, решив сохранить «прекрасное мгновение» не в руках (что разрушило бы красоту), а в душе: «Я как охотник был себе самому хорошо известен, но никогда я не думал, не знал, что есть во мне какой-то другой человек, что красота, или что там ещё, может меня, охотника, связать самого, как оленя, по рукам и ногам. Во мне боролись два человека. Один говорил: “Упустишь мгновенье, никогда оно к тебе не возвратится, и ты вечно будешь о нём тосковать. Скорей же хватай, держи, и у тебя будет самка Хуа-лу, самого красивого в мире животного”. Другой голос говорил: “Сиди смирно! Прекрасное мгновенье можно сохранить, только не прикасаясь к нему руками”».

Писатель не переставал размышлять над своим творением, открывая в нём новые глубины, сакральные смыслы: «человек жизни вступает в борьбу со смертью и побеждает: любовь сильнее смерти. <…> я и “Жень-шень” свой понял как такую же борьбу» .

С этой повестью сопоставлял Пришвин и другие свои произведения, словно проверял их потенциальную значимость в сравнении с драгоценным корнем, вобравшим в себя все жизненные силы и тайны природы. И писателю нередко приходилось признаваться самому себе, что его новые сочинения уступают «Жень-шеню». Так, например, об одном из своих произведений Пришвин отозвался 4 апреля 1949 года в дневниковой записи: «В общем, как художественное произведение это не кристалл, подобный “Жень-шеню”».

Бесценный пришвинский «кристалл» принёс писателю заслуженное признание, широкую известность в Советском Союзе и за рубежом. Повесть была переведена на иностранные языки. В 1936 году книга была издана в Лондоне с предисловием профессора Гексли. Писатель, которому тогда перевалило уже за 60 лет, не мог не радоваться, прямо по-детски, международному успеху своего творения. В пришвинском дневнике появляются записи: «9 июля. Великое счастье: “Жень-шень” пробил себе дорогу в свет, книга получена в роскошном издании   
с предисловием Гексли»; «у меня появляется друзей всё больше и больше, даже в Англии, даже в Германии “Жень-шень” назван “мужественной” книгой».

В то же время не всем читателям – современникам Пришвина, даже высокообразованным интеллектуалам, – было дано понять и прочувствовать глубинный смысл повести. Писатель замечал в дневнике: «люди, привыкшие ценить в искусстве лишь красивость, а не знание и волю, нескоро меня поймут. Это видно по книге “Жень-шень”, с каким священным восторгом её читают немногие и как равнодушны к ней массы читательские».

Но вот в юбилейный для Пришвина 1953 год – год 80-летия писателя – он получил неожиданный подарок. Дарители тоже были необычные – артиллеристы, проходящие военную службу на Дальнем Востоке, – там, где более двадцати лет назад Пришвин создавал свой «Жень-шень». Артиллеристы-дальневосточники не просто удивили и порадовали писателя отзывом о его книге. В очередной раз Пришвин, уже на закате дней, убедился в верности своего литературного пути, дела всей своей жизни: «И теперь вижу ясно, что всё, написанное мною и признанное, были отдельные искорки из пережитого мною, из моей собственной жизненной поэмы. Если же люди эти искры узнают и понимают, значит, и они переживают эту поэму. Особенно убедила меня в этом юбилейная телеграмма какого-то артиллерийского расчёта: “Всем расчётом благодарим вас за “Жень-шень”. А между тем не раз я слышал мнение образованных людей о “Жень-шене”, что это “трудная философская вещь”. Значит, если “расчёт” понял, то существует же такое общее переживание одной поэмы».

Созданная 90 лет назад, эта лирико-философская повесть и по сей день завораживает читателя.

Изумляют бесконечным многообразием картины девственной природы дальневосточной тайги: «среди коренастых стволов осокоря тут были чёрная берёза, ель, пихта, граб, мелколиственный клён, и дальше, когда мы прошли этот густой лес, перевитый лианами лимонника и винограда, в третий раз переменилась растительность на берегу какого-то неизвестного ручья: тут вперемежку с широколиственными ореховыми деревьями были только изредка кедры: редкие крупные деревья утопали в густейших зарослях крушинника, бузины, черёмухи, дикой яблони, под сенью которых, среди буйных тенелюбивых трав, где-то и надо было искать корень жизни Жень-шень».

Вслед за автором мы словно попадаем в первозданный земной рай: «Меня с малолетства манила неведанная природа. И вот я будто попал в какой-то по моему вкусу построенный рай. <…> лесистые горы, долины с такой травой, что всадник в ней совершенно скрывается, красные большие цветы – как костры, бабочки – как птицы, реки в цветах. Возможно ли найти ещё такой случай пожить в девственной природе по своей вольной волюшке!» Человек на мгновение может ощутить себя здесь абсолютно счастливым: «перевалил какой-то хребет и увидел перед собой голубой океан. Да, вот за одно только за это, чтобы увидеть с высоты перед собой голубой океан, можно бы отдать много <…> Долго я любовался с высоты, считая себя по всей правде счастливейшим в мире человеком».

Мне не раз приходилось воспринимать подобное переживание красоты дальневосточной природы – только уже не в книге, а в реальности – из многочисленных рассказов моего супруга Евгения Строганова, проходившего армейскую службу в середине 1980-х годов на Дальнем Востоке, среди уссурийской тайги. Своими глазами Женя видел и реликтовые растения, гигантские кедры и пихты, которые едва могли обхватить трое солдат, и россыпи дикорастущих ярких цветов и ягод, и огромных нарядных бабочек, и разноцветных длиннохвостых фазанов с диковинными перьями, и таёжные озёра с чистой родниковой целебной водой, и даже легендарный женьшень. А весной весь военный городок слышал рёв тигра – с вершины близлежащей таёжной сопки грозный голос хозяина тайги раздавался на много километров вокруг несколько дней подряд.

По удивительному совпадению, мой супруг тоже служил в артиллерийских войсках и, подобно тому артиллерийскому расчёту, который в 1953 году прислал Пришвину к юбилею восторженный отклик о «Жень-шене», мог бы присоединиться к отзыву тех артиллеристов –   
своих предшественников. До сих пор хранится у нас дома картина армейского художника-самоучки, изображающая сопки – характерный дальневосточный пейзаж. Женя попросил тогда своего сослуживца запечатлеть на память буйство осенних красок на прилегающих к военному городку сопках, которыми любовался за время службы. Неповторимое очарование дальневосточной природы глубоко запало в душу и супругу, и его сослуживцам-артиллеристам.

Бурно цветущие райские кущи в повести Пришвина расцвечены ослепительно яркими тонами: «Та долина, где бежит Зусухэ, вся сплошь покрыта цветами <…> Были ирисы – от бледно-голубых и почти что до чёрных, орхидеи всевозможных оттенков, лилии красные, оранжевые, жёлтые, и среди них везде звёздочками ярко-красными была рассыпана гвоздика. По этим долинам, простым и прекрасным цветам всюду летали бабочки, похожие на летающие цветы, жёлтые с чёрными и красными пятнами аполлоны, кирпично-красные, с радужными переливами крапивницы и огромные удивительные тёмно-синие махаоны».

Посреди всего этого великолепия герой-повествователь «научился понимать трогательную простоту рассказа каждого цветка о себе» и постиг, что извечная мудрость природы и всего мироздания, открытая даже травинке, цветку, недоступна человеку в полной мере: «каждый цветок в Зусухэ представляет собою маленькое солнце, и этим он говорит всю историю встречи солнечного луча с Землёю. Если бы я мог о себе рассказать, как эти простые цветы в Зусухэ!»

Солнце оставило свои отметины и на животных. Например, в виде экзотического окраса с чередованием ярко-оранжевых широких и тёмных узких полос у хозяина тайги – уссурийского тигра. Причём, замечено, что у каждого красавца-тигра рисунок расположения этих полос уникальный, единственный, одинаковых узоров не бывает. Солнечными пятнышками изукрашен мех таёжной рыси. Яркие лучики-кисточки красуются на ушках рыжей белки. Пришвин же выделяет «одно из самых прекрасных в мире, самых нежных и грациозных существ» – пятнистого оленя. И на нём тоже словно россыпь солнечных зайчиков.

К рассказчику приходит неожиданное прозрение – мысль о неразрывной глубинной связи всего живого, сущего в их единой судьбе: «и я сразу понял, почему китайцы этого драгоценного оленя зовут Хуа-лу, значит – олень-цветок».

Такое поэтическое имя дано оленю не только из-за окраса шерсти в виде пятен-цветков. Метафора более глубокая. Она выявляет процесс сотворчества человека и природы. В полной мере образ раскрывается после того, как герою несколько раз посчастливилось увидеть животное так близко, что он смог заглянуть ему прямо в глаза: олениха «сделала один и ещё один шаг ко мне. Я смотрел ей прямо в глаза, дивился их красоте, то представляя себе такие глаза на лице женщины, то на стебельке, как цветок, как неожиданное открытие среди цветов Зусухэ. Тут я ещё раз понял необходимость имени олень-цветок, и мне было радостно думать, что много тысяч лет тому назад никому не известный желтолицый поэт, увидев эти глаза, понял их как цветок, и я теперь, белолицый, их понимаю тоже как цветок; радостно было и оттого, что я не один и что на свете есть бесспорные вещи».

Эти дивные животные также становятся героями повести. Словно в волшебной сказке, олени имеют свои судьбы, собственные имена: Хуа-лу, Серый Глаз, Черноспинник.

Сказка продолжается наяву. Хуа-лу вдруг обернулась женщиной: «олень-цветок превратился в царевну…»; «поняв красоту необыкновенного зверя, я вдруг получил возможность продолжать это бесконечно далеко в человеке. Было – как будто я из тесного распадка вышел на долину Зусухэ, покрытую цветами, с бесконечным продолжением её в голубой океан».

Первая любовь, как несбывшаяся сказка: «я ничем не мог заменить себе то мгновение, когда олень Хуа-лу расцвела в человека и скрылась…», – явилась животворящим источником создания повести.   
14 ноября 1935 года Пришвин внёс в свой дневник исповедальную   
запись: «Первая любовь для мужчины только в редчайших случаях делается любовью брачной <...>. И вот была одна первая любовь, только одна на всю жизнь (поэтическая аскеза)... И там ничего, и всё зря: разряд в пустоту, а песня остаётся, радостная тень любви: так создался “Жень-шень”».

Редчайшее сокровище дальневосточной тайги – легендарный корень жизни женьшень – тоже соотносится с оленем-цветком, в том числе по мощной силе целебного воздействия на человека. «Если бы жень-шень не обладал целебными свойствами и действовал лишь по вере людей, то всё равно почитание этой травки единодушно многомиллионным народом в течение тысяч лет и в то же время способность этой травки жить в течение многих столетий... То же самое и панты, взятые с головы красивейшего зверя “Олень-цветок”», – записал Пришвин в дневнике во время работы над повестью.

Издавна женьшень – это реликтовое растение – связан с благоговейным поклонением, окутан множеством преданий, легенд, суеверий. Корень растёт несколько десятилетий. Развившись, принимает очертания человеческого тела: «я тоже, разглядывая, с удивлением стал узнавать в этом корне человеческие формы: отчётливо было видно, как на теле расходились ноги, и тоже руки были, шейка, на ней голова, и даже коса была на голове, и мочки на руках и ногах были похожи на длинные пальцы». В период путешествия по Дальнему Востоку и во время подготовки повести Пришвину посчастливилось найти и сфотографировать женьшень: «21 июля. Солнечный день. Снимал жень-шень (человек-корень). Если говорят просто “Жень”, значит, корень представляет фигуру человека наиболее отчётливо».

Увидеть в природе женьшень было не просто везением, улыбкой фортуны. Согласно древним поверьям, корень открывается только тому из людей, кто имеет чистую душу, доброе сердце, незапятнанную совесть: «для успеха в искании корня жизни надо иметь чистую совесть».

Писатель раскрывает не только медицинское понимание или суеверные представления о таинственном «корне жизни», давшем название повести. Этот центральный образ произведения является символическим «исходным моментом жизнетворчества». Для рассказчика поиски женьшеня в тайге оборачиваются поиском и обретением самого себя, своей внутренней сущности. Найти и понять «свой Жень-шень» – в этом, согласно Пришвину, заключается задача каждого человека: «Какая глубина целины, какая неистощимая сила творчества заложена в человеке, и сколько миллионов несчастных людей приходят и уходят, не поняв свой Жень-шень, не сумев раскрыть в своей глубине источник силы, смелости, радости, счастья!»

«Жень-шень» – это книга о жизни и смерти, о любви и разлуке, о вечном стремлении человека к счастью, к абсолютной гармонии и об осознании их недосягаемости: «ты это понял, что нашёл своё счастье, пошёл навстречу ему, доверился, отдался, а оттуда в тебя, в ту самую точку, где находится счастье, начали стрелять».

Но, несмотря ни на что, пришвинский «Жень-шень» учит мудрости самопознания в самоотвержении, в умении выйти за пределы замкнутого круга узколичных интересов: «Да, мне кажется, в этом и есть творческая сила корня жизни, чтобы выйти из себя и себе самому раскрыться в другом».

Последние лирико-философские раздумья в повести – об умении понимать и принимать ход жизни: «Может быть, я ещё и о многом мечтал, но все эти мечты были, как я их потом стал называть, досрочными. В этом надо всем нам сознаться, что есть сроки жизни, не зависимые от себя лично; как ни бейся, как ни будь талантлив и умён, – пока не создались условия, пока не пришёл срок, всё твоё лучшее будет висеть в воздухе мечтой и утопией, только я чувствую, я знаю одно, что мой корень Жень-шень где-то растёт, и я своего срока дождусь» – соотносятся с итоговыми, глубоко личными, последними исповедальными записями в дневнике писателя: «А природа моя – это личность, это живое изначальное творческое существо. Его-то, это существо, и надо ожидать, вот именно надо уметь ожидать. В этом умении ожидания божественной личности, может быть, и таится начало всех наших искусств».

Для Пришвина процесс творчества, вне сомнений, связан с Божественным началом, с воспламенением искры Божьей в душе человеческой, с проявлением Творца в творении. Писатель сознаёт, что без Господней воли, без Божьей помощи истинное творчество невозможно: «Так, оказывается, есть область, в которой при всём таланте к поэзии ничего не сделаешь <…>. Я думал <…> поможет мне смирение, сознание скромности моего места, любимая молитва: “Да будет воля Твоя” (а я – скромный художник)».

Сохранять искру Божью, это хрупкое «прекрасное мгновение» во всей его красоте и правде Пришвин стремился и в других своих произведениях, созданных после повести «Жень-шень», лирический герой которой признавался: «Всякий охотник поймёт моё почти неудержимое желание схватить зверя и сделать своим. Но во мне ещё был другой человек, которому, напротив, не надо хватать, если приходит прекрасное мгновение, напротив, ему хочется то мгновенье сохранить нетронутым и так закрепить в себе навсегда».

И читатель у Пришвина тоже особый, духовно родственный писателю: «Знаю, что не всякого читателя заинтересует моя “Тёплая капель”, и в особенности мало она даёт тому, кто в словесном искусстве ищет обмана, забвения от действительной жизни. Что делать – всем не угодишь, я пишу для тех, кто чувствует поэзию пролетающих мгновений повседневной жизни».

«Эта капля, это проходящее мгновение действительности <…>, всегда она – правда», – сформулировал Пришвин в своём дневнике. Из дневниковых наблюдений-капель рождались новые творения, очерковые записи перерастали в художественную прозу. Таковы, например, «записки» «Лесная капель», поэма «Фацелия», сборники рассказов и сказок «Лисичкин хлеб», «Дедушкин валенок», повесть-сказка «Корабельная чаща», сказка-быль «Кладовая солнца», цикл «Глаза земли» и многие другие произведения.

Пришвина нередко упрекали в том, что не время описывать «травинки и цветочки», когда идёт интенсивное строительство социалистического государства. В первую очередь якобы нужны произведения об ударном труде рабочих и крестьян, об их борьбе за дело социализма. Но писатель вёл свою борьбу – против утилитарного отношения к человеку как к рабочей силе, против потребительского подхода к природе как к «мастерской».

И человек, и природа в творчестве Пришвина предстают как нерукотворный храм Божий, единое творческое целое, в котором никогда не кончается жизнь: «всё человеческое творчество состоит в том, чтобы умереть для себя и найти или возродиться в чём-то другом. Тут и думать-то особенно нечего, стоит только поглядеть на всё живое в природе и понять: всё живое – зверь, птица, дерево, трава – умирает для себя, чтобы воскреснуть в другом. Из этого не выходит, чтобы человек превращался в животное или брал себе с него пример. У человека есть своя человеческая область, где он умирает и возрождается: эта область – его человеческое творчество, или его собственный путь к бессмертию».

В полном соответствии с евангельской заповедью: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём» (1Ин. 4: 16) – писатель утверждал: «главная сила человека в душе <…>, новый неведомый мир откроется людям, когда они обратят внимание *туда*»; «совсем недавно я, наконец-то, понял, что это стремление любить и было действием души моей и что душа – это и значит любовь».